*У.Г.Николаева,*
*кандидат философских наук, доцент*

# НАСИЛИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ: МЕСТО АРХАИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Для многих наблюдателей современные процессы в России предстают как переход от нерыночной экономики к рыночной, сопровождаемый построением гражданского общества при сильном влиянии государства на экономические процессы. Однако с этой точкой зрения, согласно которой главный смысл протекающих в России системных изменений укладывается в построение рыночной экономики на фоне глобализующегося мира, трудно согласиться. И не только потому, что она представляет суть происходящих экономических процессов упрощенно. Дело в том, что и по сути свести происходящее к этому переходу нельзя.

Между тем взгляд на российскую экономику как переходную от нерыночной к рыночной получил прочность предрассудка, и доказательства, основанные на возражениях против такой трактовки современной российской экономической системы, привести нелегко. Главная трудность, с которой сталкивается здесь добросовестный и непредвзятый исследователь состоит в том, что статистическая теория и практика статистических и статистико-экономических исследований в основе своего концептуального аппарата не содержат таких механизмов, которые позволили бы выявить наличие иных концептуальных основ для эссенциального определения макроэкономических процессов в современной России. Хорошо известный феномен статистики, благодаря которому она превращается в грандиозную ложь, объясняется простыми и вполне понятными методологическими соображениями – мы всякий раз получаем то, что заранее надеялись получить. А для обнаружения того, что не искали, нужен особый понятийный аппарат и принципиально новый подход не только к экономике современной России, но и ко всем основам современной макроэкономики.

Либеральные реформы 90-х гг. в России и странах советского блока существенно повлияли на все стороны жизни и хозяйственной практики, но, как сегодня становится все более видимым, небывалый рост преступности, неформальной экономики, коррупции и криминализации оказался одним из самых негативных эффектов

резкого «включения» в процессы экономической глобализации[1]. Вместо ожидаемого классического капиталистического рынка, который по замыслам реформаторов – в основном сторонников чикагской экономической школы – должен был возникнуть в самые короткие сроки, сформировалась экономическая система особого типа, которую сегодня называют по-разному – бандитским криминальным капитализмом, корпоративно-коррупционной экономикой, олигархически-теневым капитализмом[2]. При этом удивительным образом обнаружилось сходство социально-экономических процессов, протекающих в постсоветских государствах, и в странах, давно «строящих» развитой капитализм (странах Латинской Америки и др.)[3].

Как объяснить резкий подъем коррупции и криминальной практики практически во всех странах, следующих неолиберальным рецептам? Почему в результате реформ там получили распространение именно феномены теневой, неформальной экономики? Сторонники радикальных либеральных реформ обвиняют самих жителей развивающихся и трансформирующихся стран в деформации либеральных проектов, связывая все негативные явления с неразвитостью рынка, засильем бюрократии, слабостью демократических традиций и исторически сложившейся «склонностью» к незаконным действиям, закрепленным в менталитете жителей этих стран. Такие объяснения, более похожие на обвинения (и самооправдания), не способствуют действительному научному пониманию экономических механизмов «странного» капитализма, в том числе объяснению того, что же представляет собой эта загадочная «незападная

[1] Это все чаще отмечают эксперты Мирового валютного фонда (МВФ): *Schneider F., Enste D.* Shadow economies around the world : Size, causes, a. consequences. Washington, 2000; *Leite C., Weidmann J.* Does mother nature corrupt? Washington, 1999; *Tanzi V.* Corruption around the world: Causes, consequences, score, and cures // Staff papers / Intern. monetary fund. 1998. Vol. 45. N 4. P. 559 – 594 и др.

[2] Обращает на себя внимание преобладание «метафорических» определений в обозначении этих новых явлений, что, как известно, свидетельствует о том, что сущность этих новых явлений еще не раскрыта.

[3] О том, что происходящие сегодня в России процессы не являются уникальными, все чаще пишут отечественные и западные исследователи. Процитирую известного латиноамериканского экономиста и политического деятеля Эрнандо де Сото: «Десять лет назад мало кто рискнул бы даже намекнуть на сходство между странами Варшавского блока и Латинской Америкой. Но сегодня они кажутся почти близнецами: мощная теневая экономика, вопиющее неравенство, вездесущие мафии, политическая нестабильность, бегство капитала и пренебрежение законом» (*Сото Эрнандо де.* Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Пер. с англ. М., 2001. С. 211).

ментальность», которая якобы препятствует рождению «нормального» капитализма в трансформирующихся и развивающихся странах.

Суть того взгляда, который я полагаю основательным для того, чтобы по-новому взглянуть на макроэкономические процессы, в том числе происходящие сегодня в России, состоит в том, что в развитии экономики до настоящего времени теоретически осмысленными оказывались лишь те процессы, которые были связаны с развитыми рыночными отношениями и основывались на них. В этой связи необходимо напомнить, что классическая экономическая теория, которая до недавнего времени называлась политической экономией, с самого начала была политэкономией только одного общества – капиталистического. Но это факт оставался долгое время скрытым именно потому, что возникшая в качестве политэкономии капитализма экономическая теория претендовала на всеобщность – у ее представителей неосознанно присутствовало убеждение в том, что политэкономия капитализма – единственно возможная теоретическая система, объясняющая всё и вся в области экономических отношений. Из этой иллюзии вытекало еще несколько теоретических постулатов, сознательно полагаемых в основание казавшегося универсальным знания об обществе и устройстве его экономики. Законы капиталистической экономики экстраполировались на все общество и все исторические ступени его развития. Бросающееся в глаза несоответствие между реальным фактически положением вещей и теоретической интерпретацией фактов экономики докапиталистического общества легко объяснялось незрелостью общества и, следовательно, его экономических отношений.

Вместе с тем специфика отличных от капиталистических экономических отношений столь очевидна и столь велика, что не признать ее наличие и просто игнорировать оказалось невозможно. Поэтому уже в рамках классической политэкономии и уж тем более в рамках классического марксизма в экономической истории общества всегда признавали, наряду с действием тех же законов, что и при капитализме, наличие еще некоторых отношений, которые невозможно было счесть соответствующими капиталистическим закономерностям, а потому они не считались экономическими закономерностями вовсе. Поскольку действие этих законов относилось не только к экономической сфере, многие полагали, будто действие экономических законов здесь дополнялось и сталкивалось с действием законов иного (политического, правового, нравственного и пр.) порядка. Так создавалось впечатление «плюральности» общества – отсутствия в нем экономического детерминанта, впечатление действия экономических законов наряду с действием других законов.

Лишь во второй половине XX в. в результате огромной работы, проделанной прежде всего в области экономической этнологии, стало очевидным и может считаться доказанным наличие особого рода экономических систем, которые, оставаясь экономическими, не выглядят и не являются системами рыночной экономики. Отсюда и знаменитый термин «внеэкономическое принуждение». В традиционной экономической схеме феодальные и прочие докапиталистические производственные отношения, за исключением первобытного коммунизма, характеризовались наличием внеэкономического принуждения, тогда как капиталистические отношения, как представлялось, порождают систему принуждения экономическими средствами. Внешне дело выглядело так, будто система внеэкономического принуждения вовсе не является экономической системой. Именно на это указывает сам термин «внеэкономическое принуждение». Смысл утверждаемого мною тезиса состоит в том, что понятие «внеэкономическое принуждение» применительно к докапиталистическим антагонистическим общественно-экономическим формациям оказывается недостаточным, противоречивым, и, следовательно, принципиально и глубоко ошибочным. В этом смысле любое принуждение оказывается в известной мере внеэкономическим, и в то же время любое внеэкономическое принуждение есть принуждение экономическое.

Для доказательства этого тезиса необходимо было бы привлечь огромный материал экономической этнологии и всю массу фактов экономической жизни в условиях докапиталистических общественных формаций. В рамках небольшой статьи сделать этого, разумеется, нельзя. Поэтому наметим лишь главные пункты логического рассуждения, приводящего к этому выводу, хотя на деле и автора и читателя не может оставить чувство неудовлетворенности[1].

[1] Более подробно об этом см. в моих работах, посвященных этим и смежным проблемам: *Николаева У.Г.* Экономическое и внеэкономическое принуждение в «переходных» типах обществ: проблема актуализации архаических структур // Социальное партнерство: проблемы взаимодействия человека, общества, государства (Материалы Четвертых годичных научных чтений РГСУ. 29 – 30 января 2005 г. Ч. II. М., 2005. С.11–16; *Николаева У.Г.* Экономическая жизнь и экономическая теория: архаические структуры в современной экономике // Управление социально-экономическим развитием в условиях интеграционных процессов: Сб. научн. трудов. М., 2004. С. 85 – 95; *Николаева У.Г.* Философия преступности и архаические формы экономического поведения (к критике современной западной криминологии) // Социальные процессы и социальные отношения в современной России: Тезисы выступлений 25 – 26 ноября 2004 г. (IV Международный социальный конгресс): В 2 т. Т. 2. М., 2004. С. 117 – 120; *Николаева У.Г.* Внеэкономическое принуждение на постсоветском пространстве // Актуальные проблемы социально-экономического развития России: Сб. научных трудов.

В самом деле: общество основано на *вне*экономическом принуждении, а мы силимся увидеть за этим некую сугубо *экономическую* основу. В действительности никакого противоречия здесь нет, и это становится неоспоримо, когда мы пытаемся учесть, что экономические законы предполагают участие в процессе производства различных видов собственности и различного вида общественного богатства.

Историки экономики, и особенно экономические этнологи в XX в. обнаружили многообразие форм принуждения, многообразие форм эксплуатации в сообществах, находящихся на стадии перехода от первобытности к стадии классового общества. Среди этих ранних форм эксплуатации наиболее значимыми в контексте нашей проблемы выступают: доминарный (и его разновидности – доминарно-приживальческий, в том числе и брако-приживальческий, доминарно-наймитский, доминарно-кабальный, доминарно-рабовладельческий), магнарный (и его разновидности – магнарно-рабовладельческий, магнарно-приживальческий, магнарно-кабальный, магнарно-арендный), политарный (орбополитарный и урбополитарный), и, наконец, милитарный. Теоретически открыв и исследовав ранние формы эксплуатации, основанные на специфических разновидностях частной собственности и включающие в себя в качестве обязательного элемента личную зависимость от собственника – полного или верховного, персонального или корпоративного, – философ и историк Ю.И.Семенов фактически создал фундамент политэкономии докапиталистических обществ[5].

Эта новая политэкономия докапиталистических обществ основана на полном переосмыслении содержания ряда понятий, в первую очередь таких, как «частная собственность», «государство», «эксплуатация» и «принуждение». Теоретическое исследование общеклассовой частной собственности государственного аппарата в качестве экономической основы азиатского способа производства (политаризма – в терминах ученого) открыло принципиально новую страницу в экономико-исторических исследованиях внеэкономического принуждения. Обнаружилось, что большинство древних и средневе-

---

Вып. II / Под общей ред. Н.Н.Пилипенко. М., 2004. С.307 – 315; *Николаева У.Г.* Экономическая архаика и современность. М., 2005.

[1] См.: *Семенов Ю.И.* Экономическая этнология: Первобытное и раннее предклассовое общество // Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. XX (Экономическая этнология). Кн. 1. Ч. I – III. М., 1993; *Семенов Ю.И.* Введение во всемирную историю. Вып. 1–3. М., 1997 – 2001; *Семенов Ю.И.* Об одном из типов традиционных социальных структур Африки и Азии // Государство и аграрная революция в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1980; *Семенов Ю.И.* Философия истории. Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М., 2003

ковых, а в некоторых случаях и современных обществ Азии, Африки, Америки и даже Европы базируются не на рабовладельческих и феодальных отношениях, как долгое время считалось, а на отношениях политарных, или на различных модификациях политаризма, магнаризма и доминаризма.

Попробуем кратко объяснить различия между этими формами организации раннеклассовой докапиталистической экономики. Если доминаризм основан на том, что эксплуатируемый работает только в хозяйстве эксплуататора за содержание, магнаризм – на принципе, согласно которому работнику передается в обособленное пользование земля и орудия труда (с условием внесения собственнику доли урожая и/или работы определенное время на его земле), то политаризм – сложное для понимания явление. Сущность политаризма заключается в том, что собственником средств производства и одновременно верховным собственником личностей непосредственных производителей выступает государство в лице чиновников государственного аппарата. Коллективная, общеклассовая частная собственность определяет характер взаимоотношений государственного аппарата как частного собственника и производителей материальных благ: весь избыточный продукт присваивается государством в виде налогов и распределяется между членами аппарата согласно их месту в чиновничьей иерархии.

Эта особая – коллективная – общеклассовая частная собственность с необходимостью предполагает регулярное насилие как по отношению к непосредственным производителям, так и к самим представителям государственного аппарата, склонным к превращению общеклассовой собственности в персональную. Террор, расправы, запугивание – обычные методы укрепления общеклассового господства и поддержания внутриклассовой монолитности. Тем самым внеэкономическое понятие оказывается в самой сердцевине именно экономической теории: без систематического насилия невозможна именно экономика соответствующих обществ. В этом систематическом насилии проявляются собственно политарные производственные отношения.

Современные исследователи почти не обращают внимания на еще одну распространенную в архаических обществах форму присвоения созданного чужими руками прибавочного продукта. Речь идет о присвоении посредством использования прямой физической силы со стороны организованной военизированной («бандитской») группировки. Мобильность таких военных групп, эффективность неожиданных набегов приводили к тому, что милитарный способ эксплуатации, как его все чаще называют, оказывался одним из распространенных в древнем мире, особенно на границах перво-

бытной периферии и цивилизации. Отсутствие или слабость государства всегда создают благодатную почву для развития этой специфической формы эксплуатации, поэтому везде, где мы сталкиваемся с предельным ослаблением или разрушением государства, можно прогнозировать реактуализацию милитарных форм экономической эксплуатации.

Когда военно-силовое изымание избыточного продукта одним сообществом у другого из эпизодического превращается в регулярно повторяющееся явление, возникает специфическая система социально-экономических отношений. Но не внутренних, присущих только одному обществу (социору), а таких, которые связывают несколько обществ в одну экономическую систему. Это специфическое явление получило наименование межсоциорной эксплуатации[1]. Присвоение созданного в другом социально-историческом организме продукта ведет к снижению продуктообеспеченности эксплуатируемого общества, следовательно, к итоговому снижению его общих производительных возможностей. Известные из древней истории такие формы межсоциорных экономических взаимодействий, существующие и в современном мире, пока не привлекли внимания экономистов, что затрудняет анализ таких современных явлений, как «бегство капитала», международная теневая экономика, стагнация при зависимом развитии периферии вследствие перераспределения продукта между нею и центром*.

В современной общественной науке существует не очень точное представление о властном содержании социальных норм. Согласно распространенному мнению, любые социальные нормы носят властный характер, то есть они, попросту говоря, суть проявления власти. В действительности такой характер имеют только социальные нормы в собственном (узком) смысле слова, то есть нормы поведения, в то время как за пределами норм поведения существуют многочисленные нормы деятельности, не связанные с такой важной составной частью социальной нормы, как санкция. Таковы, например, различные производственные и культурные нормы. Здесь важно подчеркнуть, что правовую норму связывают сложные отношения с нормами моральными и культурными.

---

[1] См.: *Семенов Ю.И.* Введение во всемирную историю. Вып. 3. М., 2001. С. 34 – 35.

* В этой связи появляется потребность, как я неоднократно подчеркивала, в разработке новых понятий и терминов, в которых иначе трактуемый процесс глобализации мог получить научное отражение. Одним из таких понятий должно стать, на мой взгляд, не менее важное по сравнению с давно разработанным в экономической науке понятием «степень эксплуатации» понятие «уровень эксплуатации».

С этой точки зрения государство с самого начала выступает как «узурпатор» публичной власти, как источник насилия. Чтобы скрыть насильственный по сути характер государственной власти, создаются, придумываются, изобретаются или даже заимствуются разнообразные культурные средства, в первую очередь ритуалы.

Чтобы лучше понять и разобраться в собственно социальных механизмах формирования господства политарного аппарата, мы вынуждены вторгнуться в пределы культурологии. Обратим внимание на то, что ритуализованным оказывается поведение людей в любой социальной группе, в любом обществе. Но роль ритуалов и их социальный смысл меняются в зависимости от экономической природы того или иного общества. При становлении политарных социально-экономических структур возникает необходимость в утверждении полного, безраздельного господства класса политаристов, совпадающих с иерархией государственных чиновников. Чтобы различие было практически действенным, необходимо, чтобы отличие *государственных* ритуалов приобретало иной, оригинальный, ни с чем не сравнимый характер. Поэтому на стадии становления крупных политарных социальных организмов во всех обществах (достаточно вспомнить знаменитые древние египетские пирамиды) появляются гигантские сооружения, циклопические постройки. Но пока не была обнаружена социально-экономическая природа циклопизма в архитектуре, его считали лишь «капризом культуры». Теперь, в свете развитой социальной теории, включающей в качестве своей основы представление о двоякой детерминированности социума со стороны как производственных отношений, так и культуры[1], можно взглянуть на эти явления иначе. Сооружение гигантских архитектурных сооружений имело под собой социально-экономическое основание: именно для реального отличения подданными и гражданами государственной власти от всех других форм властных отношений при политаризме необходимо ***безмерное*** подчеркивание различия, нужен выход за пределы меры в область, воспринимаемую массой людей как ***беспредельное*** могущество, безмерную власть.

Поэтому становление обществ с циклопическими постройками – это одновременно оформление развитой стадии в динамике политарного общества. При этом происходит своеобразное достраивание здания культуры – становление соответствующих идеологических структур, а также окончательное оформление социальных идеалов. Предпринимаемые невероятные усилия по постройке совершенно бесполезных сооружений имели огромный идеологический смысл –

[1] См. подробнее о теории двоякой детерминированности социума в работе: *Муравьев Ю.А.* Истина. Культура. Идеал. М., 1995.

подавление «маленького человека». В сущности, это и есть разгадка «загадки египетских пирамид», а также всех других загадок циклопических сооружений, регулярно создаваемых в тех или иных обществах на тех или иных этапах исторического развития: безмерное насилие должно было находить подкрепление в иллюзии безмерного величия власти.

Мы подошли к выводу о необходимости изменения всего строя современной экономической мысли – включения в рассмотрение экономической теории всех аспектов «внеэкономического принуждения» – всех вариантов «несвободного» экономического поведения, то есть поведения в ситуации частичного либо полного отсутствия выбора, в условиях тотального государственного подчинения индивида

Особое внимание необходимо уделить тому, что делает неразрывной связь экономики и политики. Любое неополитарное общество порождает серию своеобразных идеологических иллюзий, среди которых не последнее место занимает иллюзия тождества общества и государства. И хотя иллюзия «государства рабочих и крестьян» с падением системы неополитаризма разрушается, подобно серии других иллюзий, возникает, однако, немало новых, и нужда в социальной стабильности выражается в попытках укрепить слабеющее государство. Но до тех пор, пока не будут подготовлены экономические и политические условия для перехода к следующей стадии социального развития, неизбежно будет сохраняться обстановка социального экстремума и ситуация правового беспредела. В этих условиях обнаруживается фактическая тождественность государственной системы ограбления трудящихся и системы прямого грабежа с помощью насилия со стороны так называемых группировок, фактического тождества действий уголовной банды и государственных структур.

Открытие в науке универсального распространения в истории такой разновидности раннеклассовых систем, как политарная, привело к существенному изменению представлений о советском обществе как об обществе социалистическом, а постсоветском обществе – как обществе, осуществляющем переход от социализма к капитализму. Достижения исторической ориенталистики в XX в. позволяют обнаружить ряд закономерностей, которые дают нам возможность иначе взглянуть на процессы, протекавшие совсем недавно. Речь идет о социальных моделях уже в XX в., в которых ключевую роль начинало играть государство, а все усилия правящей элиты были направлены на создание особой иерархической пирамиды, построенной на распределении властных полномочий и четком определении размеров привилегий.

Процесс разложения политаризма представляет в сущности расщепление общеклассовой частной собственности на персональную частную собственность отдельных представителей господствующего класса. Коррупция чиновников, взяточничество и должностные преступления – обязательное проявление этого процесса. Но без проникновения в механизмы этого универсального и чисто экономического явления все события поздней советской и ранней посткоммунистической истории России останутся тайной за семью печатями.

В последние два десятилетия существования советской державы происходит постепенное превращение единой общеклассовой политарной собственности в собственность корпоративную, то есть частично персонализированную. Расцвет коррупции на закате советской эпохи – результат именно этого процесса. Но здесь важно подчеркнуть, что поскольку чиновничество выступало в политарной системе как единый класс, то и коррупция чиновничества представляла собой не просто чисто правовые ситуации (превышение полномочий отдельным служащим, нарушение инструкции и т.д.), но демонстрировала процессы изменения характера и форм собственности.

Попытки такого рода персонального распоряжения общеклассовой собственностью встречались в нашей истории и раньше. Так, в советской России процессы персонализации только что сформировавшейся общеклассовой собственности происходили при нэпе. Тогда тоже расцвели блат, взяточничество, коррупция[1]. Но при Сталине, в период укрепления индустрополитаризма, такого рода попытки жестоко преследовались. Систематический террор и постоянная кадровая мобильность управляющей верхушки обеспечивали защиту от попыток персонализации общеклассовой собственности.

Разложение политаризма начинается с появления сначала отдельных, а потом систематически повторяющихся случаев персонализации общеклассовой собственности. При этом в отечественной и зарубежной науке пишут о латентных процессах «приватизации» общественной (государственной) собственности. Важно обратить внимание на то, что, употребляя термин «приватизация» по отношению к экономическим изменениям в предреформенной и пореформенной России, мы всегда сталкиваемся с искушением пойти по проторенной идеологической дорожке и сделать научную ошибку: протекающие процессы суть не переход от общественной формы собственности к частной, а переход от одной формы частной собственности

[1] Анализ теневой экономики в первые годы советской власти (1917 – 1920 гг.) дан Ю.Латовым в работе: «Экономика вне закона: очерки по теории и истории теневой экономики» (М., 2001. С. 229 – 238).

(общеклассовой) к другой форме той же частной собственности (персонализированной частной собственности).

В сущности чисто экономическое, а не моральное или правовое, содержание приобрела в позднем советском обществе коррупция. Возникла особая – параллельная – или, как еще называют, «вторая экономика»[1]. Взятка превратилась в один из наиболее распространенных механизмов этой «теневой» экономики: множество взяток курсировало среди чиновников – с ростом ранга бюрократа возрастал и размер взяток, более высокий статус чиновника сочетался с увеличением числа взяткодавателей, а также взяткополучателей более низкого ранга, которые обязательно в той или иной форме «делились» с руководящим ими чиновником. Неудивительно, что высокая должность в партийной или государственной структуре, как пишет С.Ю.Барсукова, «на правах рентоприносящего блага становилась объектом купли-продажи»: «должность приравнивалась *к специфическому праву собственности* (курсив мой. – *У.Г.*) — праву, действующему лишь в рамках неизменных правил взаимодействия чиновничьей власти и хозяйственной практики»[2].

Таким образом, на закате советского строя теневая коррупционная практика стала важнейшей составляющей экономической системы, а сформировавшиеся в ее рамках связи и отношения послужили основой новой – постсоветской – теневой, неформальной экономики.

Бурное развитие неформального сектора экономики в пореформенной России было связано с ростом теневого бизнеса, а также криминального экономического и социального поведения. Согласно официальной статистике, с 1989 по 1992 гг. рост преступности приобрел немыслимые ранее масштабы. Количество преступлений почти всех категорий увеличивалось на 20 – 25% в год. Такая динамика наблюдалась вплоть до 1996 г., после чего правоохранительными органами был зафиксирован незначительный спад[3].

---

[1] См. об этом одну из первых посвященных формированию «второй», т.е. «теневой» экономики в Советском Союзе, работ Г.Гроссмана «Вторая экономика в СССР»: *Grossman G.* The Second Economy of the USSR // The Underground Economy in the United States and Abroad / V.Tanzi (ed.). Lexington, 1983. Добавим, что термин «вторая экономика» ввел не Г.Гроссман, как часто думают, а К.Карол (Karol K.S. Conversation in Russisa // New Statesman. 1971. N 1.). Он же, кстати, писал и о «третьей экономике», под которой понимается сеть магазинов для ограниченного контингента привилегированных сотрудников.

[2] *Барсукова С.Ю.* Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. М., 2004. С. 80.

[3] См.: Преступность, статистика закон / Под ред. А.Долговой. М., 1997; *Сафронов В.* Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ. СПб., 2000.

Показательно, что среди всех видов преступлений наибольшим приростом, согласно статистике, отмечено преступление, напрямую связанное с экономической деятельностью (и изменением характера этой экономической) , а именно вымогательство. Интересно, что, по данным советской статистики, вымогательство до начала перестройки не относилось к разряду распространенных видов преступлений, а в некоторых районах Советского союза (Алтай, Вологда, Курск и некоторые другие) почти не встречалось. С началом перестройки все изменилось: только в 1989 г., согласно исследованиям, количество случаев вымогательства в большинстве российских регионов увеличилось в три раза.

Таким образом, краеугольными камнями новой экономической системы в России оказались воровство и криминал. Все это сопровождалось появлением соответствующей новым реалиям особой морально-культурной и морально-психологической атмосферы, характеризующейся принятием как должного таких явления, как рэкет, бандитизм, кровавые «разборки», «крышевание» и т.д. Человеческая смерть – не естественная, а насильственная, организованная – перестала быть чем-то из ряда вон выходящим: она стала своеобразной разменной монетой в экономической борьбе интересов, стала частью новой «этики» криминально-капиталистического устройства.

Имевшие связи с государственными чиновниками бизнесмены, одновременно пользовавшиеся и услугами бандитов, стали связующим звеном между своеобразным «нижним» (бандитским) этажом возникшей «спайки» и «верхним» (чиновничьим) уровнем этой своеобразной криминальной коалиции-корпорации. К середине 90-х гг. сеть такого рода связей между криминалом, бизнесом и чиновничеством достигла такой степени плотности, что многие независимые исследователи сделали вывод о формировании в России особого типа экономической системы – «бандитского», «криминального» капитализма.

Распространение в России немыслимо жестких и жестоких норм в области экономического поведения – особое социальное явление, притягивающее внимание не только экономистов, социологов, но и специалистов в области криминологии. Здесь интересно обратиться к некоторым соображениям в этой пограничной для ряда наук предметной области.

Изучение закономерностей преступного поведения (включая исследование преступного поведения в сфере экономики), составившее значительную часть современной западной социологической и криминологической мысли, за последние десятилетия сделало ряд важных и существенных шагов в понимании крайних форм проявления девиантности поведения. Однако, как представляется, недостат-

ком современных работ в этой области оказывается игнорирование очень важного, исторического измерения в рассмотрении проблемы преступления и наказания.

Говоря об историческом подходе, я имею в виду возможность рассмотреть проблему преступного и вообще девиантного поведения с позиций архаических форм экономических отношений, которые могут быть возрождены в более поздних экономических структурах, создавая тем самым ряд сложностей для анализа одномоментных срезов в структурах современной экономической жизни.

Речь идет о том, что мировоззренческие основания отклоняющегося поведения, массовидные преступные, с точки зрения современного права, формы человеческой активности при определенных обстоятельства и в особых условиях могут рассматриваться социальными агентами как вполне морально оправданные и оптимальные в сугубо прагматическом смысле для последующих эпох социально-экономического развития.

Конкретизируем эту мысль, взяв за основу идею возможности полноценного наказания лишь в обществе с сильной политической властью, имеющей прочные легитимные основы. Разложение общества предстает тогда не как ослабление единой морали и ее конечное нивелирование в формах общественной жизни, а лишь как канализация морали по тем или другим социальным слоям. Проще говоря, общество, разбивающееся на ряд социальных групп, перестает признавать приемлемым для себя закон, действующий глобально в масштабах всего общества. Ярчайший пример такого рода канализации морали являет собой так называемая сфера криминальной экономики в современной России. Последние события российской истории с очевидностью показывают, что снижение значимости единых государственных законов для тех или иных групп населения имеет следствием не уничтожение закона как такового, а появление таких моральных норм, которые по своей сути оказываются гораздо более жесткими, чем нормы, инициируемые государством. Иными словами, там, где правит «вор в законе», тот самый закон, который он устанавливает, оказывается гораздо более действенным, чем любая конституция. Почему так происходит?

Причина, как мне представляется, состоит в том, что в криминальных сообществах устанавливается не беззаконие, основанное на грубой силе, а строгая система законодательства, однако не такого, которое санкционировано государством, а такого, которое господствовало в обществе на более ранних исторических стадиях общественного развития. Это «законодательство» – отнюдь не мораль в первоначальном смысле этого слова, не общественная воля, направленная на регулирование поведения людей и даже не норма

обычного права, которая фиксирует в более жесткой форме все те же нормы разлагающейся первобытной морали. Это особая форма групповой консолидации, основанная на неписаном законе, который не кодифицирован, но исполняется неукоснительно. Сила этого закона в том, что общество, редуцирующееся к более ранним стадиям своего бытия, чем те, которые были в недавнем прошлом зафиксированы, рассматривает эти принципы не только как справедливые, но и как такие, нарушение которых по всей справедливости должно считаться наказуемым.

Решая вопрос о негативном или позитивном воздействии наказания на уровень преступности, необходимо учитывать гораздо более дробные составляющие в структуре социума, чем те, которые в принципе могут дать статистика, социология и социальная психология. Актуализация архаических форм экономики и, следовательно, ранних форм политической и социальной жизни в иные моменты исторического развития налагает существенные ограничения на возможность универсального объяснения взаимосвязи преступности и жесткости наказания.

Из сказанного вытекают, в частности, серьезные выводы, которые могут оказать влияние на дискуссию о необходимости введения смертной казни как высшей меры наказания. В самом деле, ряд архаических обществ экономически организован так, что смертная казнь оказывается здесь единственно возможным, да и вообще единственным наказанием, которое признается данной единицей социума, данной социальной общностью. Отсюда следует непреложный вывод: архаизация экономики с неизбежностью требует универсализации смертной казни и ее легитимизации в масштабах всего общества. Устранение смертной казни из социальной жизни, которое с позиций универсальной морали не только желательно, но и единственно мыслимо, в действительности возможно лишь на той стадии ( не ранее!), на которой изживут себя архаические формы экономической жизни в данной социальной среде.

Таким образом, усложнение методологии криминологического и конфликтологического анализа, включение в него новых исторических размерностей, более тонкий методологический инструментарий собственно экономического анализа позволяет прийти к серьезным практическим выводам, которые обосновывают теоретически непосредственно ясные практико-прагматические соображения.

Сказанное о различных формах внеэкономического принуждения в докапиталистических обществах призвано обосновать мысль, что и политарные, и милитарные, и доминарные и магнарные формы эксплуатации были ничуть не менее экономическими, чем современные капиталистические формы эксплуатации. Все они базировались

на частной собственности, все были *проявлением специфических производственных отношений.* Постоянно протекающие в обществе процессы классообразования (первичное, вторичное, третичное и т.д.) реанимируют в современных развивающихся и трансформирующихся странах не только самые ранние формы эксплуатации (кабальничество, наймитство, приживальчество), но и более поздние докапиталистические способы милитарной, магнарно-доминантной, политарной эксплуатации. Возрождение всех перечисленных архаических экономических моделей в самой передовой, или рассматриваемой как таковая, современной капиталистической экономике делает актуальным введение ранних экономических форм в предмет современной социальной и экономической теории.

Такой взгляд существенно меняет наши представления о социально-исторических и социально-экономических закономерностях, а также ставит вопрос о новом подходе к самой методологии изучения социально-экономических процессов, рассматриваемых в диахроническом аспекте. История предшествующих экономических процессов в таком случае – не просто предмет изучения исторической науки; «архаика» актуально присутствует в современных процессах. Если ранее представлялось, что новая стадия развития общества просто сменяет старую, отбрасывая все предшествующее как хлам, то новый взгляд на исторический процесс связан с признанием того, что все предшествующие стадии развития общества актуально присутствуют в современности.

Тогда нашей задачей становится сделать очевидным для современных обществоведов и экономистов существенность того, что до сих пор представлялось посторонним, привходящим и случайным: реальное присутствие процессов, свойственных докапиталистическим формам экономической жизни, в современных экономических процессах, в первую очередь, в виде регулярного возрождения различных форм внеэкономического принуждения, в том числе в виде прямого и не ограниченного ничем насилия.

***Р.Г.Пихоя,***
*доктор исторических наук, профессор*

# ЦАРЬ И НАРОД

## Царская власть в общественно-политических представлениях горнозаводского населения Урала XVIII века

В истории общественно-политической мысли России XVIII в. важное место занимают слухи, молва, ожидание каких-то «милостивых» указов и манифестов, надежды на появление «истинного» царя[1]. Бесчисленные слухи о подмененном царе, истинных грамотах, освобождавших от разных повинностей, власти помещиков и монастырей, распространялись в течение XVIII в. по всей России. Урал не был исключением. Своеобразие их проявления состояло по преимуществу в этой среде, где они распространялись. В данном случае такой средой было в основном горнозаводское население края.

Естественно, что степень осмысления социального противостояния здесь иная, чем в челобитных. В слухах, ожиданиях мы встречаемся с социально-психологическим состоянием общественного сознания. Болгарский исследователь В.Вичев отмечал, что обычно ни распространяющий слухи, ни слушающий их не могут определить свои цели, но слухи выполняют роль отдушины, порождают надежды. Это извращенный и ложно адресованный способ проявить свое недовольство, желание бороться, не выступая прямо против противника[2].

Власти Российской империи с особенным тщанием преследовали слухи «против персон блаженныя и вечнодостойныя памяти е.и.в. (Петра I. – *Р.П.*), а также и ныне благополучно владеющей е.и.в. и их высокой фамилии»[3].

Известно, что в 20-е гг. XVIII в. на Урале были широко распространены убеждения об антихристовой природе царствующей династии

[1] См., например: *Сивков К.В.* Самозванчество в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. М., 1950. Т. 31. С. 80 – 135; *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды XVIII – XIX вв. М., 1967.

[2] См.: *Вичев В.* Мораль и социальная психология. М., 1978. С. 87.

[3] Указ Екатерины I от 30 января 1727 г. // Государственный архив Пермской области. (Далее – ГАПО). Ф. 297. Оп. 1. Д. 1121. Л. 39 – 39 об.